

ОБРАЗ ИТАЛИИ В КОРРЕСПОНДЕНЦИЯХ И ОЧЕРКАХ М. А. ОСОРГИНА

Альбин Конечный

Известно, что в начале XX в., после некоторого охлаждения, “вечная прототипическая родина” — Италия снова становится “мечтой, предметом страстного желания, тем благодатным, блаженным местом, которое знают доопытно или в которое верят, образом, таинственно и глубоко интимно, почти иррационально связанным с Россией”.¹

Михаил Андреевич Осоргин (наст. фамилия: Ильин; 1878, Пермь — 1942, Шабри) попал в Италию не традиционным для того времени путем. Начинаящий юрист, выпускник Московского университета, арестованный в 1906 г. за содействие партии эсеров, но выпущенный из тюрьмы под залог, он бежал в Финляндию и вскоре оказался в Италии.

В 1908-1915 годах он работает постоянным итальянским корреспондентом либеральной московской газеты “Русские ведомости” (далее: *РВ*), где опубликовал более трехсот статей, посвященных разнообразным аспектам итальянской жизни (от политики до повседневного быта). Частично, или в переработанном виде, он включил свои “итальянские впечатления” в книгу “Очерки современной Италии” (М. 1913; далее: *Очерки*). “Это не исследование о современной Италии, — сообщает автор в предисловии, — книга эта — плод незаконной любви к стране одного из ее загостившихся поклонников. Слишком живая и телесная, Италия не создана только для взглядов и восхищений. Хочется узнать и понять ее ближе... пробудить внимание к современной Италии” (*Очерки*, с. 5).

¹ Топоров В. П. Италия в Петербурге // Италия и славянский мир. М. 1990, с. 61. См. также: Перцов П. Литературные заметки: Книга об Италии // Новое время. 1911. 27 марта; Лавров А. В. Итальянские заметки М. А. Волошина // Максимилиан Волошин: Из литературного наследия. СПб. 1991, с. 220-232.

Оставаясь на правах политического эмигранта и практически лишенный возможности вернуться домой (позже Осоргин откроется как ему не хватало русской провинции, где он родился), римский корреспондент благодарен Италии “за ласковый привет, за бесконечный ряд высоких эстетических переживаний” (Праздник Третьей Италии / *PВ*. 1911. 23 марта), за то, что “она тревожит душу сладостным, ласковым и дрожащим ощущением красоты, уничтожая границу между действительностью и сказкой” (Предисловие / *Очерки*, с. 9).

В своих корреспонденциях и очерках Осоргин подчеркнуто декларирует свою установку донести до сознания русского читателя облик современной Италии. Восторженно приветствуя выход первого тома “Образов Италии” П. Муратова, он говорит: “Для меня важно лишь то, что она [книга] писана с глубокой любовью к стране, изучению которой посвящена, и не только к Италии прошлой, но и к Италии сегодняшней... кто любит художественное прошлое Италии, тот не может не любить ее современности, с которой оно так тесно связано.. П. Муратову пришла прекрасная идея дать не трактат об Италии, а образы ее, ибо Италия можно мыслить только образами” (Образы Италии / *PВ*. 1910. 15 декабря). “Но ошибаются те, кто думает, что образы Италии — лишь образы прошлого... И в итальянской современности, родившейся под печальной художественной звездой, все же хранятся заветы и традиции прошлого величия и расцвета... Та Италия, в которую зовут мои очерки, сильно отлична от Италии художников и поклонников прошлого. Мои впечатления и взгляды ограничены рамками современности” (Искусство прошлого и современность / *Очерки*, с. 231-233).

Однако Осоргин и сам подпадает под знакомую всем магию Италии, и как он признается: “не моя вина, если и образы прошлого Италии иногда легкой тенью скользнут в рассказе о ее современном” (Предисловие / *Очерки*, с. 11).

Лично для Осоргина “образ Италии” — это чувство обретенного дома. “Иногда Италия представляется мне моей собственной квартирой. Вот ее приемная, — Венеция... Вот моя библиотека и картинная галерея, — Флоренция... Вот мой деловой кабинет для скучных посетителей, — Милан... Вот Рим, — моя святая святых, — склад ценностей неизреченных, собранных моими предками и мной преумноженных... А вот мой балкон, с которого открыт вид на площадь, кишущую народом: это — Неаполь... Италия — мой дом, мой мир, мое забвение и моя безначальная и бесконечная радость!” (По этапам экскурсантских мытарств / *PВ*. 1912. 27 июня). “Флоренция кажется мне прекрасной ком-

натой большой квартиры, которая зовется Италией” (По северу Италии: Путевые заметки / *РВ*. 1914. 15 июня).

Позже, живя в Париже, Осоргин вспоминает: “Я прожил восемь лет в Вечном Граде... Я очень любил Италию и прилежно ее изучал, не музейную, а современную мне, живую Италию в труде, в песне, в нуждах и надеждах. Я написал о ее жизни две книги и рассказывал о ней в сотнях статей, печатавшихся в России. Города Италии были моими комнатами: Рим — рабочим кабинетом, Флоренция — библиотекой, Венеция — гостиной, Неаполь — террасой, с которой открывался такой прекрасный вид”.²

Обратимся к “образам” городов, которые составили мир итальянского “дома” Осоргина.

“Прекрасная принцесса-грёза, очарованье Адриатики, обольстительная Венеция... город неумеренной и дикой роскоши образов и жестов... Венеция так цельна и гармонична, что она никогда не меняется... Она — законченнейшая из картин, созданных творческой фантазией природы, — руками человека в высшую из минут безумного экстаза... ярче и беспутнее не рисовала ничья кисть: ни божья, ни человеческая”. Венеция — “современный Содом... на третий день она делается надоедливой, вульгарной, скучной. Сразу испита и поглощена ее краса, ее позолота линяет, как румяна под утро... пошлость проступает сквозь живую красоту синими, гнилыми пятнами... Облик Венеции, вчера обольстивший, завтра исчезнет из памяти и не вернется до нового визита в ее салон, открытый всегда и для всех, всем и всегда улыбающейся одной откровенной улыбкой” (Венеция / *РВ*. 1913. 13 июня). “Легко и не страшно любить Венецию, еще легче забывать ее на время, — но не навсегда. К ней тянет как к привычному наркозу; но едва вкусив ее, уже чувствуешь пресыщенность. Рассматривать Венецию бессмысленно: ее нужно рассеянно созерцать... Венеция — грешная красавица, для которой нет суда; самый строгий судья, уже готовый произнести суровый приговор, разведет руками и скажет: “Иди и греши дальше” (По северу Италии: Путевые заметки / *РВ*. 1914. 15 июня).

Флоренция — “милый, спокойный, сосредоточенный губернский город ‘порядочных людей’, образцовый город итальянской (но не европейской) культуры, покровитель серьезного искусства” (Итальянцы / *Очерки*, с. 76); “благовоспитанный губернский город, погруженный в

² Осоргин М. Времена. Париж 1955, с. 118-119.

созерцание своих галерей” (Рим / *Очерки*, с. 119). “Флоренция неисчерпаемо глубока, она неизменно серьезна, она нестареюще прекрасна... Флоренция делает весь остальной мир безобразным, пока он не докажет обратное” (По северу Италии: Путевые заметки / *РВ*. 1914. 15 июня).

“Милан — столица цивилизованной Италии... Здесь рождаются идеи, которые завтра разольются по всей Италии” (Из окна вагона / *Очерки*, с. 25); “город европейский, или желающий окончательно стать европейским; в этом его гордость... Девиз Милана: прогресс. Миланец — практический господин в цилиндре” (Итальянцы / *Очерки*, с. 76, 77). “В Милане — комфорт отеля, удобство сообщения, печать европейской культуры, деловитость обстановки... Миланец горд покроем своего платья, цилиндром своих извозчиков, своим пассажем, вывесками, указывающими куда вам идти, чтобы придти или приехать на другую, столь же благовоспитанную улицу... Милан оставляет холодным и делает заботливым” (По северу Италии: Путевые заметки / *РВ*. 1914. 15 июня).

Неаполь — “город, который никогда не надоест глазу и не насытит наблюдение. Уже нигде не осталось этой непосредственной жизни на улице, этой удивительной музыки шумов и возгласов и этой гармонии пейзажа и быта... Неаполь туго поддается европеизации... Тарахтанье трамваев, крик ослов и их погонщиков, звон молотка, кующего медный таз, пенье без удержу, визг сцепившихся кумушек... необыкновенный, прекрасный Неаполь, город нищеты и убогой роскоши, город самых ярких галстухов и кричащих улыбок!” (Путевые наброски / *РВ*. 1911. 7 июня). “Неаполь — синоним романтического, веселого проходимца” (Итальянцы / *Очерки*, с. 77). “В Неаполе все оригинально... И всегда праздничен Неаполь... И всегда шумен Неаполь; у него неисчерпаемый запас поводов ликовать и негодовать... Но “чувство Неаполя” рассеяно по его переулкам, затерялось в серой куче детей, ослов, тряпья, извозчицких кляч, медных тазов, в испарениях подозрительных жаровен, запахе жареной кукурузы и висящего над головой детского одеяла... Неаполь полон жизни, нервной и дерзкой” (Неаполь: Путевые заметки / *РВ*. 1914. 15 июля).

Из всех городов Осоргин дает предпочтение Риму, которому посвящены корреспонденции и очерки: “Рождение Рима” (*РВ*. 1910. 15 апреля), “Рим бутафорский” (*РВ*. 1910. 16 ноября), “Язва Рима” (*РВ*. 1910. 18 декабря), “Карнавал (Римские картинки)” (*РВ*. 1911. 18 февраля), “Римские настроения” (*РВ*. 1911. 14 августа), “Римские красавицы” (*РВ*. 1911. 16 сентября), “Маски и тарантеллы” (*РВ*. 1912. 27 января), “Чувство Рима” (*РВ*. 1912. 4 февраля), “Вечный город и гигиена” (*РВ*. 1912. 9

февраля), “Летние наброски” (РВ. 1912. 19 августа), “Модернизация Рима” (РВ. 1913. 22 февраля), “Гражданский праздник” (РВ. 1913. 17 сентября), “Театр марионеток” (РВ. 1914. 28 февраля), “Рим” (Очерки, с. 117-119), “Контрасты римской обывательщины” (Очерки, с. 120-137) и др.

“Рим, это — сама Италия, сумма всей Италии, но не современно-промышленной, а Италии вне возраста, Италии вековой” (Итальянцы / Очерки, с. 76). “Рим является такою же душой Италии, как Москва для России. Вечный центр культур, он на обломках старого построил современность. В противоречивом разнообразии его жизни можно найти все наслоения переживаний Италии, от античного монумента до дома-модерн, от “сельского поединка” до парламентской дуэли, от южной дикости до северной изощренности... Рим включил в себя все, все претворил, все сгладил, все оттенил тенью своей вечности и своего природного, наследственного благородства” (Рим / Очерки, с. 119). “Образ вечного Рима — слияние прошлого с настоящим” (Римские настроения / РВ. 1912. 14 августа).

“Любовь к Риму, это — любовь к родине; тоска по Риму — тоска по родине... Рим — родина космополита, дом гражданина мира... Здесь вы просто и только гражданин вселенной, нашедший свой дом. И это чувство высокого подъема, свободной любви ко всему и всем безраздельно, жажды вечности и вечной красоты, — это чувство, наполнившее вас, льющееся через края вашего сознания, — это чувство и есть чувство Рима” (Чувство Рима / РВ. 1912. 4 февраля).

“Но для меня Рим представляется с бытовой стороны прекраснейшей иллюстрацией к контрасту былого и настоящего, того, чем прекрасна Италия, и того, чем она скучна. Контраст тоги Цицерона и заглаженной складки на брюках министерского депутата, в том или ином виде, повторяется на каждом шагу. И: когда в воскресный день, часа за два до заката солнца, весь Рим высыпает на улицу, я с удовольствием смотрю этот живой кинематограф противоречий. За картиной разворачивается картина; нигде в мире не найти такого дивного фона для сегодняшних групп и сцен, как фон древних развалин, уцелевших монументальных античных зданий и средневековых церквей. Каждый камень здесь имеет историю, и в каждом извозчике есть капля крови *augūa*, победителя в беге колесниц. Полководцы обратились в полковников, дискболы в футболистов, народные трибуны в социалистических лидеров, триумфаторы в велосипедистов, великое в смешное, а все-таки великое чувствуется” (Контрасты римской обывательщины / Очерки, с. 121).

“Дань образам Италии — дань законная, — пишет Осоргин. — И нет, по-моему, лучшего образа Италии современной, как группа из живых чумазых итальянских ребятишек, играющих струями средневекового фонтана на залитой солнцем площади Вечного города. Слава прошлому, и да живет будущее, полное бодрых упований и не истраченной энергии!” (Предисловие / *Очерки*, с. 11).

В своем отклике на появление “совершенно исключительной книги” П. Муратова (“Образы Италии”, Т. 2) П. Перцов писал: “Италию можно не знать совсем, можно (хотя и очень трудно), узнав, не “замечать” и не полюбить, как не заметили безнадежные русские “домоседы” Фет и Лев Толстой. Но, раз поняв и приняв ее, делаешься ее энтузиастом, и она входит в жизнь не как отдаленное воспоминание туриста, а как вечно сызнава переживаемый факт “истории души”. Италия или ничто для нас или часть нас самих”.³

³ Перцов П. Зеркало Италии / *Голос Москвы*. 1912. 26 мая.

ПРИЛОЖЕНИЕ*

ОБРАЗЫ ИТАЛИИ

(РВ. 1910. 15 декабря; фрагмент: *Очерки*, с. 231-232)

Я краду этот заголовок у недавно вышедшей книги П. Муратова,¹ так как именно она толкнула меня взяться за перо. Ее автор, как ценитель итальянского искусства, не может нуждаться в отзыве итальянского корреспондента. Но книга его затрагивает не одно старое итальянское искусство: она, по признанию автора, “является опытом изображения Италии”, ее городов и пейзажей, ее исторического и художественного гения... Она не исключает, конечно, другой задачи, — рассказа о предметах и событиях, дающего читателю сведения, которые могут сделать для него интересным пребывание в Италии.

Я не могу и не хочу заниматься разбором книги П. Муратова. Для меня важно лишь то, что она писана с глубокой любовью к стране, изучению которой посвящена, и не только к Италии прошлой, но и к Италии сегодняшней, а на это грешно не отозваться. В самом деле, что считать прошлым? То, что скрыто в музеях? Но ведь там скрыты чудеса искусства вечного, а не прошлого, не преходящего; зачем отдавать их предкам, когда они принадлежат и нам? Разве “Рождение Венеры” Боттичелли, “лучшая из всех картин на свете”, по словам П. Муратова, и я готов с самым задорным росчерком подписаться под его прекрасным увлечением! — разве это чудесное создание Сандро Боттичелли не есть частичка современности, частичка сокровищ сегодняшней Италии? А колонны Диоскуров на римском Форуме? Разве это создание древности и принадлежит только ей? Конечно, нет. Древние создали храм Диоскуров, теперь не существующий, но три обветрившиеся мраморные колонны — достояние наших дней; они имеют свою ценность независимо от былого храма, и я, право, не знаю, согласился ли бы я на их месте увидеть целый возрожденный храм. Говорят, что над Бельведерской площадкой на Палатине высилось еще несколько этажей и, что вид сверху на Кампанию и термы Кара-

* Условные сокращения: РВ — Русские ведомости; *Очерки* — Осоргин Михаил. *Очерки современной Италии*. М. 1913.

¹ П. Муратов. *Образ Италии*. Т. I. Изд. Научного слова. Москва 1911 (*примеч. автора*).

каллы был невероятно прекрасен. Может быть. Но я предпочитаю нынешнюю Бельведерскую площадку, с которой видны сады, пыльная дорога и развалины древних бань, и я считаю, что это самый божественный пункт на земном шаре. Но ведь это же — современный вид, который тщетно стараются опошлить современные фабриканты открытых писем!

Нет, кто любит художественное прошлое Италии, тот не может не любить и ее современности, с которой оно так тесно связано. Я не говорю — современной живописи, современного искусства вообще. О, оно порой возмущает душу! И не о парламенте я говорю, не о речи синдика Натана, не об энцикликах папы Пия X, не о реформистах и предстоящей выставке. Я говорю о том вечном в Италии, о той присутствующей ей красоте, которая родила Анцианскую девочку, храм Диоскуров, тосканскую речь, “Божественную комедию”, Венеру Боттичелли, героический подъем гарибальдийской “тысячи”. И не говорить об этом нельзя. Нам, русским, рожденным под серым небом, так нужно красоты и солнца, что хочется кричать о нем, об яркости его в той маленькой стране, которую Гоголь звал родиной души своей. “Нет лучшей участи, как умереть в Риме, — писал он, — целой верстой человек здесь ближе к божеству!” — “Кто был в Италии, тот скажи прощай другим землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю”. — “О Рим, Рим! В душе небо и рай!”. И да простит мне автор “Образов Италии”, если я скажу, что “Венера” Боттичелли, перевезенная в Москву, не была бы более “лучшей из всех картин на свете”. Пусть она заперта в музее, но и ей нужна рамка из итальянского неба и флорентийского пейзажа. Только здесь критик проникается той восторженностью, которая делает самого его художником.

Но оставим восторженность. Вот почему я считал нужным сказать все это. Литература об Италии (на русском языке) не только не богата, а скорее ничтожна. То, что писано об итальянском искусстве, писано старым языком, языком кабинета. П. Муратову пришла прекрасная идея дать не трактат об Италии, а образы ее, ибо Италию можно мыслить только образами. Конечно, его книга, по крайней мере вышедшая ее часть, не исчерпывает всех прекрасных образов страны солнца, да и не в том ее цель. Но она пробуждает в читателе любовь к этим образам, стремление насладиться ими, и в том — ее заслуга. Нужно, чтобы после долгого забвения вновь проснулся интерес к этой дивной стране и к ее историческим судьбам. Тогда и нам, изучающим современность Италии, будет легче выразить почему наше отношение к ее быту, учреждениям, культурному росту или застою, к ее общественным

задачам и начинаниям бывает порою слишком страстно критическим, порою даже пристрастно несправедливым. Обычная критическая мера спокойного и объективного созерцания неприложима к стране, которой так много дано природой и историческим прошлым. В сравнении с ушедшими в вечность гигантами современный человек среднего роста кажется лилипутом. И варварами, истинными варварами кажутся современные римляне, разрушающие великое, чтобы создать громоздкое...

Рим, 6-го декабря.

РИМСКИЕ НАСТРОЕНИЯ*

(РВ. 1911. 14 августа)

... Рим остается Римом, тихим, дремлющим, прекрасным. Всегда прекрасным, всегда полным настроения, — летом и зимой, весной и осенью.

Тридцать семь градусов в тени, это жарко! Но яркий, слепящий солнечный свет так идет к архитектуре смело раскинутой испанской лестницы; вверху — храм Троицы и обелиск, воткнувшийся в знойное небо; внизу — затопленная лодка, нелепый фонтан отца Бернини. Каждый камень дышит веками и отрицает зной, холод, время и временность. Видите ли, есть на свете такие убежища для человеческой души, о которых нельзя не говорить всегда с неослабным восхищением и неугасающей любовью; одно из них и одно из лучших — Рим. О нем тысячи людей тысячи раз говорили и писали, но никто не сказал достаточно и никто его не исчерпал; недаром он вечный, а вечность неисчерпаема. Я проходил сегодня мимо круглого храма богини Матуты, который обычно зовут храмом Весты, его колонны и стены античны, внутри его — фрески, оставшиеся от средневековой церкви, он крыт крышей наших времен и загорожен недавней чугунной решеткой; перед ним сидит старый сторож, играющий со своим внуком; если вы войдете, этот сторож зажжет вчерашнюю газету и бросит ее в отверстие пола, чтобы осветить античные темы подвала, при этом

* Очерк публикуется с изъятием первого абзаца, в котором Осоргин пишет о Всемирной художественной выставке в Риме. — А. К.

расскажет вам несколько небылиц. Ну, разве тут не вся история всех времен, от римлян до наших дней? А рядом церковь, при входе в которую стоит на обломке капители колонны большой мраморный круг, изображающий страшное лицо с открытым ртом, это — *Bocca della verità* — Рот истины; положите в него руку, если вы не лгали, если солгали — берегитесь, откусит! Римлянки ходят туда с женихами, римляне — с приятелями; несчастий не случается в наш праведный век...

А кругом кипит трудовая жизнь. Здесь самый бедный квартал города. В старых зданиях, даже в величавых античных стенах театра Марцелла, ютятся люди, куют железо, вяжут чулки, плетут корзины, шьют цельное платье ценой в четыре лиры, едят булочки — маритоцци, немного засиженные мухами, которых невозможно отогнать даже палочкой с навязанными на нее узкими цветными бумажными лентами. И какие типы в этой толпе, где сидящая у порога старуха кажется гораздо старше стройного храма Матуты, а чумазый мальчуган — несомненно тот самый, которого писали тысячи проехавших через Рим художников всех национальностей.

Он полон настроений, этот Рим. Рядом — Авентинский холм, где на единственной улице редко встретишь живую душу. Большие спокойные здания с запертыми воротами; городской шум сюда не доносится. У одних ворот сидит с чулком женщина. Когда вы будете проходить мимо, она подзовет вас и знаками покажет на ровную круглую дырочку, обделанную медной оправой в самом центре ворот над замочной скважиной. И правда, это очень красиво и неожиданно! Сквозь крошечное отверстие вы увидите зеленую аллею, ровно выстриженную сводом, и вдали, в лиловой солнечной дымке — храм Святого Петра. Вы так далеко от него и так о нем забыли, что его неожиданное появление вас действительно поражает. Эффект не исчезнет если, позвонив, вы проникнете в прекрасный сад виллы мальтийских рыцарей. Там есть площадка, откуда виден затибрский Рим, Джаниколо, желтая тяжелая полоса Тибра внизу. А потом вдруг кольнет в сердце: вот они, трубы фабрик, высокие момументы современного рабства! И ваша мысль невольно сделает прыжок от малтийского ордена к последней стачке рабочих...

Мысли непокорны... Но есть место, где они не смеют бунтовать, где нисходит на них покой кипарисов. Невдалеке от холма есть небольшое иноверческое кладбище; там, у стены старинной кладки, есть тихая и простая могила Шелли. *Percy Bysshe Shelley — cor cordium...* Простая мраморная плита, наклонно лежащая прямо на земле; не-

сколько худеньких растений, да тень от четырех кипарисов. В этом скромном, более чем скромном, уголке почил певец Беатриче Ченчи, носитель духа освобожденного Прометея... А в центре кладбища — маленький склеп с притворенной дверью; перед ним сидит грустная девушка из мрамора, сделанная с любовью и простотой резцом Антокольского. Дальше — совсем новый надгробный памятник религиозному искателю Пашкову; “блаженны изгнанные правды ради...”. Здесь же похоронен автор “Последнего дня Помпеи” Карл Брюллов.

И снова из мира мертвых в мир живых. С вершины горы Тестаччо, этой удивительной и еще недавно загадочной горы, сложенной целиком из черепков грубых античных амфор, видны внизу жалкие постройки, примкнувшие к самой горе. Интересно взглянуть на их крыши; ради тепла и ради экономии строительного материала эти крыши сплошь выложены всё теми же античными черепками, по которым вы взбирались вверх, к черному железному кресту на вершине. Внизу сейчас строят новое одноэтажное здание — сарай и в стены, наряду с тонким плитчатым итальянским кирпичем, вклеивают те же осколки амфор. Когда-то в этих огромных глиняных сосудах доставляли в древний Рим из колоний вино и масло; но даже и осколки их до сих пор служат практическим целям... Кто из этих рабочих внизу, так равнодушно цементирующих стенную кладку, задумывается над историей материала, над которым он оперирует? И уж, казалось бы, в этом пустынном месте, где и трава-то едва-едва скудно пробивается, мало простора для настроений... А между тем что это, как не слияние прошлого с настоящим, как не образ вечного Рима, как не отрицание преходящего и неприятие вечности?

Это — самый скромный уголок Рима, почти не посещаемый иностранцами. Они предпочитают Форум, Палатин, Колизей, места громкие и знаменитые, где настроение не ищется и не создается, — оно готово, оно предлагается вам, от него нельзя уйти. Но только тот действительно любит и ценит Рим, кто одинаково знает линию пиний, видную вдалеке с Яникульского холма, и маленький древний барельеф свиньи, вмазанный в стену дома на *via della Scrofa*, и типичный столик из жестяных прутьев продавца лимонада на окраине города, и колонны из сырных кругов и гирлянды из окороков в дверях колбасной перед Пасхой, и скрипящую колесами и звенящую бубенцами цветную арбу виновоза с ближних гор, и поджаренные кусочки артишоков и тыквы на лотках, и крепко ласкающую ухо букву “r” римского диалекта, и много других превосходных вещей, до которых нет дела ни Бедекеру, ни его клиентам. И тот, конечно, не пойдет искать настроений на посыпанных реч-

ным камушком дорожках художественной выставки (Всемирной выставке в Риме, о которой говорил Осоргин в начале очерка — А. К.). И там, конечно, есть свои раритеты и свои отражители переживаний; есть поразительные испанцы, есть грандиозный пастух — серб Местрович, откуда-то появившийся и сваливший с ног всех скульпторов, — но все это есть сейчас и умрет завтра, лишь немного пережив моду на узкие юбки, а вечный, дремлющий покой Рима был, есть и будет, сливая прошлое с грядущим, преломляя сегодня в призме веков. Крыши из черепков античных амфор, кузнецы в сводах театра Марцелла, рабочий землекоп, открывающий под улицей статую Ниобиды, старинная надпись “est locanda” в современной обиходе, “S.P.Q.R”, на тачке городского метельщика улиц, — все это те приметы Рима, до которых вам нет дела, но которые дороги римляну, которые дают настроение любящему вечный город. И даже новый безвкусный памятник Виктору Эммануилу можно извинить, если вспомнить, что он воздвигнут памяти человека, сказавшего удачную и красивую фразу:

“Мы в Риме, и мы здесь останемся!”

ЧУВСТВО РИМА

(РВ. 1912. 4 февраля; с правкой: *Очерки*, с. 111-116)

“В этом счастье, которое дает испытывать Рим, есть что-то похожее на счастье быть молодым, — ждать с трепетом каждого нового дня, засыпать с улыбкой, думая о завтра, верить в неистраченное богатство жизни, быть расточительным в своей радости, потому что всюду вокруг бьют ее неиссекаемые источники”.

Так определяет “чувство Рима” П. Муратов в только что вышедшем втором томе его прекрасной книги “Образы Италии”. Счастливое, красивое и неполное определение. Чувство Рима пытались объяснить очень многие и очень большие люди, но никто не смог и не сможет выразить словами того бесконечного, что дает Рим чувству. Проще всех поступил Гете, сказавший: “О, Рим, ты целый мир!”... Но ведь и это лишь восклицание, а не определение.

Я выпишу из этой же книги еще одно прекрасное признание, принадлежащее Ж.-Ж. Амперу. “Рим не такой город, как все другие города. У Рима есть очарование, которое трудно определить и которое принадлежит только ему одному. Испытавшие силу этого очарования понимают друг друга с полуслова; для других — это загадка. Некото-

рые наивно признаются, что для них непонятно таинственное обаяние, заставляющее привязываться к этому городу как к живому существу. Другие, напротив, делают вид, что испытывают его, но верные Риму очень скоро распознают этих лже-обращенных и выслушивают их улыбаясь, — как улыбается истинный ценитель живописи или музыки при виде знатока, рассматривающего против света картину, которая его восхищает, или неверно отбивающего такт арии, которая приводит его в восторг”.

Это очень верно! Понявший, чувствующий, испытывает гордость римлянина и к пришельцу, еще не проникнувшемуся чувством Рима, он может относиться лишь как к варвару, внешний восторг которого невольно вызывает снисходительную улыбку. Пред вами прекрасное издание “Божественной комедии”, сверкающее тиснением кожи и бронзой застежек; но если вам не ведом язык божественного Данте, если вы лишь читали его бледные переводы, — что стоят ваши восхищения! Только для того, кто сжился с Римом, кто проникся его поистине волшебным очарованием, — уже нет надежды забыть вечный город. Остальным эти восторги должны казаться наивными; и напрасно звать к Вергилию: “Maestro, il senso lor m'è duro” (Учитель, смысл этих слов мне непонятен!); никакой поэт не может объяснить чувства, которое нужно пережить и которое определению не поддается.

Я не хочу пытаться определить чувство Рима; это — непосильная задача. Но я бы сделал одну прибавку ко многим старым и новым определениям. Любовь к Риму, — это любовь к родине; тоска по Риму — тоска по родине. Эта кажущаяся странность и есть, быть может, то особенное, что выделяет Рим из всех городов мира. Рим — родина космополита, дом гражданина мира. И тот, чей дух блуждает, чье чувство не имеет в мире угла, который звался бы домом, — тот, раз побывав, стремится в Рим, с которым он уже связан навеки. Это — непонятно? Это кажется наивным и преувеличенным? Да, для тех, у кого есть очаг, его удовлетворивший! Но с тем “мы говорим на разных языках”.

Рим — родина духа блуждающего и ищущего. Тот, кому в мире холодно и неуютно, находит здесь тепло, ласку и привет. Тепло и ласка разлиты здесь повсюду; теплом и лаской веет от старых позолотевших глыб травертина, от улыбки четырех львов на площади Народа (piazza del Popolo), от пиний на вилле Боргезе, от фасадов старых церквей, маленького памятника Кола-ди-Риенцо, круглого храма богини Матуты на Тибре. Есть ласка и в Париже, но та ласка продажная; только Рим согревает бескорыстно, даря от избытка и от привыч-

ной расточительности. В нем такой запас света, прекрасных линий и нежных оттенков, что даже современный застроенный и урегулированный Рим еще имеет право быть щедрым по-царски.

Тот, кто дома видел только серое и среднее, находит здесь величие, которое подавило бы везде, но которое в Риме приглашает приблизиться и сдружиться. Грандиозный Колизей мог бы утратить свою циклопичность и своей историей; в Риме же вы входите в него с улыбкой так же смело днем, когда он залит солнцем, как и ночью, когда фантастический свет луны превращает эту колоссальную развалину в царство сказок волшебных, но не страшных. Сторож, проходя мимо вас с фонарем, не забывает сказать вам приветливое *buona sera*, из города доносятся сюда звонки трамвая и звуки засыпающей жизни, и темные впадины древнего цирка, на арене которого когда-то обильно лилась кровь, не пугают вас и не вызывают тревожных мыслей. Чувство Рима, уже проникшее вас, смягчило резкость теней и населило провалы Колизея сказками добрыми.

Рим — старый любезник, но не теряющий достоинства. В нем есть всё, на все вкусы, кроме пошлого. Любителя шумной современной жизни он зовет к закату на Корсо Умберто и показывает ему, как римская толпа отрицает порядок движения и как люди и экипажи умеют двигаться рядом и попеременно, не беспокоя друг друга. Он зовет мечтателя на площадку, с которой виден на ладони весь Форум в остатках мрамора и темная масса Палатина — направо. Затем он блеснет рядом тусклых огней по набережной Тибра, очертит на небе силуэт пиний на Монте Пинчо или кипарисов в стороне Ватикана. С той же охотой он заманит вас в скромное кафе, где посетители говорят о делах войны и мира, о женах, дочерях и женщинах, и сидят гораздо дольше, чем того требует пищеварение и хотели бы лакеи. Когда же вам захочется быстрым шагом сменить улицу переулком, он внезапно, все с той же охотой, покажет вам столько фонтанов, странных, причудливых, живописных, неэкономных на воду, что вы невольно протянете ладонь к одной из струй. Тогда он вдруг пахнет на вас пригорелым маслом пиццерии — кусочной лавочки, — и выведет к темному, роскошному палаццо, во дворе которого журчит вода в большой раковине барокко, затянувшейся темным мохом и завитой плющом. Промчится автомобиль, прозвонят бубенчики винной арбы, возвращающейся в деревню, и снова перед вами — либо античная развалина, либо модный магазин. Все это спутано, нагромождено, все связано общей жизнью и все проникнуто единым и нераздельным, сладко волнующим нервы чувством Рима.

И тогда вечный город начинает делаться вам родным. Ну, да, вы родились в нем и мыслью жили в нем всегда! Вы помните толпу рабов и патрициев, трибуны ораторов, статуи победителей в беге колесниц. Вы жили тут в эпоху развратных пап и шумных карнавалов, теряясь в толпе пажей, кардиналов, жуликов, солдат, монахов, художников, иностранных гостей и набожных старух. Во дни Гарибальди вы следили взором то за окном Пия IX, то за вечерними огнями лагеря на Яникульском холме; и тем же строгим и грозным силуэтом стоял замок Св. Ангела, который вы помните еще иным, еще уставленным статуями и украшенным наверху мраморной колоннадой, когда он служил лишь мавзолеем праху императора Адриана. Рим — ваша родина; когда-то какая-то нелепая, необъяснимая случайность унесла вас отсюда в другой край, который вы пытались любить, считая его родиной. Но это было лишь сном, тяжелым и напрасным! Там было холодно, неприятно, там всегда нехватало красоты, ласковости и той связи с веками ушедшими, но живыми, без которой самая жизнь кажется лишь случайностью, лишь ленточкой между двумя вечностями: из мрака на свет лишь на мгновение, чтобы опять — во мрак. Здесь — не то; здесь вы окружены предками и твореньями предков, здесь все полно памяти, все связано с ближним и дальним прошлым связью тесной, необходимой, такой понятной и законной, такой возвышающей. Здесь вы — не затерявшаяся песчинка, не бесправный и обездоленный, не угнетатель и командующий, не выборщик и избиратель; здесь вы — просто и только гражданин вселенной, нашедший свой дом. И это чувство высокого подъема, свободной любви ко всему и всем безраздельно, жажды вечности и вечной красоты, — это чувство, наполнившее вас, льющееся через края вашего сознания, — это чувство и есть чувство Рима.

Рим дает право быть влюбленным в жизнь; он освящает эту влюбленность, узаконяет ее, не делая ее смешной. Рим вообще узаконяет право на все романтическое, не позволяя никакому несложному чувству, никакому незатейливому пейзажу и слову быть вульгарным. Можно любить Москву (можно ли не любить?), но смешно быть влюбленным в Плющиху или Швивую горку; в Риме можно обожать самую последнюю овощную лавочку в Гетто, как здоровая душа обожает полдень, — обожать с пылкостью институтки и с религиозной глубиной прозрения старого отшельника. В Риме можно верить в дружбу и, поплатившись за это, продолжать верить; в Риме любовь украшена в такую изысканную оправу мраморов и зелени, что она — всегда первая и единственная. Но все эти чувства, без которых вне Рима нет жизни, здесь — лишь приложение, лишь последняя капля, перепол-

няющая чашу ощущений. Это потому, что в Риме нужны люди для оживления картины, но можно обойтись без человека. Голос его вполне заменяется шумом оживленной улицы; пустота ночной площади красноречивее его любовного молчания, а вечная ласка, так щедро разлитая всюду, — ценнее ласки минутной, которая завтра сменится усталостью и равнодушием. Здесь все вечное отрицает все временное. И вечный язык мировой культуры или мировых культур, понятный для всех наций и времен, делает излишним обмен словами, делает излишним самый язык; прелесть римского наречья есть также лишь лишняя роскошь в неисчерпаемом богатстве города. Здесь довольно, вполне довольно, не говоря, мыслить старыми, забытыми словами, какие повсюду, кроме Рима, вызвали бы улыбку и не были бы искренними.

Но Рим, старый любезник и угодник, требователен к своим влюбленным. Радости вашей ему мало, — он хочет и вашей тоски. Любовь к Риму — любовь к родине, тоска по Риму — тоска по ней. Когда вы покидаете Рим, улыбка еще не сходит с вашего лица, и вы прощаетесь с ним, весело и приветно; так же приветно он провожает вас акведуками и убегающим вдаль куполом Св. Петра. Но пусть пред вами будут новые чудные картины и святые места искусства, пусть будет занят ваш ум и сердце несвободно, — Рим напомнит о себе той трепетной, неблагоразумной, необъяснимой *postalgia*, в которую претворилось ваше чувство Рима. Это так странно и так любопытно! Вас будет тянуть от родных, от ближайших друзей, от любимого и любимой к каменной арке, к мраморным колоннам, к знакомой лавке сырника, к маленькому барельефу свиньи, вделанному зачем-то и кем-то в стену дома на *via della Scrofa*. Вы хотите бороться с этим чувством? Напрасное старание! Оно владеет вами еще сильнее. И все, кому чуждо чувство Рима, кто, не зная его, не верит ему, будут смеяться над вами и подозревать в ваших объяснениях что-то недоговоренное, нарочито припрятанное от чужих взоров. А вы в своем славном, нелогичном порыве тоски по родине, будете все надежды возлагать лишь на то, что, покидая Рим, не забыли бросить традиционное сольдо в фонтан Треви, — этот залог возврата по старой примете. И вы вернетесь, и вы вернетесь, все поборов и все принеся в дань той прихоты, которая есть продукт странной, необъяснимой тоски по нашей общей родине, тоски по Риму. Если вы не придете сюда, порвав все узы и победив все преграды, — я отрицаю вас, я не хочу знать вас, мы говорим на разных языках...

Чувство Рима обширно и многосторонне. Ошибается, кто думает, что оно всегда безоблачно; и лишь одна, возможно лучшая, сторона

его выражена строками, цитированными мною в начале. Чувство Рима всеобъемлюще и многоцветно. Оно взвивается к небу, туда, куда глядит острием самый древний обелиск Рима, что на площади Санта Мария Маджоре; оно с высоты обрыва Пинчо рушится вниз и под землю вьется по галереям катакомб, не находя дороги, блуждая, теряясь, боясь остаться навсегда без света и воздуха. Когда же светит утреннее солнце и лучи его с веселым смехом отбрасываются широкими плитами травертина, — спектр радости Рима богаче спектра радуги! Вот потому-то счастье быть в Риме может быть слишком полным, как свет солнца бывает слишком ярким для глаз. И когда это чувство слишком ослепит и наполнит, когда радость пройдет через все высоты и горе — через все глубины, — тогда пресыщенное, напоенное, опаленное светом чувство может с тоскою воскликнуть:

О, унеси меня из этого слишком прекрасного мира, избыточного света и пышной роскоши линий и красок в простую, захудалую и забытую русскую деревушку, где я не буду так слишком счастлив!

Рим, 25-го января

ВЕНЕЦИЯ

(РВ. 1913. 13 июня)

Прекрасная принцесса-грёза, очарование Адриатики, обольстительная Венеция... Уже не помню в который час приходится переживать то же впечатление, только сила его всё растет и всё ярче выявляется. Венеция — город неумеренной и дикой роскоши образов и жестов. Не будь она так стара и так прекрасна по самой своей природе, ее пришлось бы назвать наглой, вульгарной, против нее пришлось бы протестовать. Но так она на всякий протест способна ответить уничтожающей улыбкой. Кто протестует, тот мертв; живой должен здесь смеяться или дрожать от наплыва ощущений. И при этом безразлично, впервые ли он здесь, или он обычный гость адриатической принцессы.

Венеция так цельна и гармонична, что она никогда не меняется. После многих лет разлук с нею вы найдете ее тою же, от зданий до людей, от неба до лагуны, от голубей до столиков на площади Марка. Она — законченнейшая из картин, созданных творческой фантазией природы, — руками человека в высшую из минут безумного экстаза.

Есть немало картин глубже, есть много творений выше, но страстнее, ярче и беспутнее не рисовала ничья кисть: ни божья, ни человеческая. Здесь творческий гений вспыхнул, создал и сгорел навсегда, и эта картина уже нигде не повторится даже в слабом подобии.

С залитой солнцем площади Марка зайдите в храм, прохладный, серьезный, темный. Как странен контраст строгих фигур его купольной мозаики с привычным видом лиц беззаботной толпы, всегда праздничной, на всегда праздничной площади. Темны и полны сказками дождливой лагуны его стены с подобраным рисунком благородного камня. Высокая кафедра с густой матовой позолотой круглого купола — сама храм и действует почти мистически! Нестройным хором бормочут молитвы толстые, сонные патеры в темно-красном; им вторит мелодичный орган, кончая за них аккорды. В притворе висят витрины, полные серебряных сердец с серебряным пламенем. Значит и здесь есть кающиеся и ждущие прощения? Вам казалось, что здесь живут только грешники, которым некогда каяться и которым всегда так сладко и легко грешить...

Первый купол старой мозаики расскажет вам как начались наши страдания. Был рай, где вместе со зверями уживался неуклюжий, добродушный и глупый человек. Человеку было скучно, как скучно вам, одиноко бродящим по галереям прокураций. Однажды над ним, спящим, склонился такой же, с сияньем вокруг чела, вынул ребро и создал подобие себя и человека, но с более широкими бедрами и длинными волосами. И вот двое нагих людей живут среди широких листьев зеленого рая, скучая вдвоем, как прежде скучал одинокий Адам, не стыдясь наготы своей, рабы того третьего, который для них слишком мудр и который носит на теле одежду. Их лица тупы, им чужды желанья и наслажденья.

Но вот действенный гений женщины узнал от дьявола смысл жизни. Адам вкушает яблоко и бедные первые люди счастливы на мгновенье. Тогда приходит Он, их суровый обличитель. В страхе согнуты колени первых людей и чресла их покрыты зеленью листьев рая. Тут же, в прекрасном саду, суровый судья судит свое подобие и изгоняет согрешивших чрез узкую дверь рая. В темных одеждах, уже не прежние, уже умудренные жизнью, они живут теперь среди скал и тощих растений; он роет землю, она прядет. Окончен мозаический цикл повести о том, как счастливый глупец стал несчастным мудрецом... И из преддверия храма мы выходим на площадь современного Содома.

В той же позе, как помните, тогда и тогда, всегда и ежедневно, стоит перед фотографом немецкая большеногая и крупнорукая дама и

кормит голубей, привлеченных горохом (цена — пятак за пакет). Тень пала на столики, на сотни столиков, занявших к заходу солнца края площади. Шумной толпой тянутся по прокурациям иностранцы. Меж двух колонн пьядцеты — толпа жаждущих впервые испытать гармонию гондолы и ароматов узкого канала. Нигде никто не разваливается в кресле так покойно и бессовестно, как на черных подушках гондолы. А сам гондольер похож на наклонную палочку, стоящую на корме; такой позы нигде в другом месте не принимает рабочий человек. И вообще того, что есть здесь, больше не встретит нигде в целом мире. Вот она — Венеция! Теперь спустился закат, зажглись огни. Огнями зажглись витрины бриллиантов, жемчугов, золота, кружев, стеклянных безделушек. Толпа африканцев в белых и синих чалмах жметя к дверям магазина дешевых и ярких материй, тарелок, игрушек; и тут же рядом русские матросы с “Уральца”. В вечернее небо вонзился высокий остроконечный Messer San Marco; черным силуэтом рисуется остров Св. Георгия; гондольеры зазывают настойчивее...

Жить здесь? Ни за что! Но пробыть здесь только день — слишком мало! Двух утр и двух ночей требует Венеция. На третий день она делается надоедливой, вульгарной, скучной. Сразу испита и поглощена ее краса, ее позолота линяет, как румяна под утро. Несносным делается воздух ее каналов, пошлость проступает сквозь живую красоту синими, гнилыми пятнами. И хочется скорее домой, в неисчерпаемый Рим, любезный тем, кто дольше его знает. Выходя из гондолы перед зданием вокзала, бросьте в воду канала приставшее к платью и подошвам ощущение греха, которым полна Венеция. В святую Флоренцию невзначай не захватите его с собой! И наготу своих чувств прикройте зеленью стыдливости, вы, покидающие приют адриатической принцессы! Там, за его пределами, опять зажужжит прялка и застучит кирка по упорному камню; но, на смену счастливым глупцам, — там вы встретите осмысленное лицо страдающего мудреца, стыдливого и трудящегося в поте лица. Облик Венеции, вчера обольстивший, завтра исчезнет из памяти и не вернется до нового визита в ее салон, открытый всегда и для всех, всем и всегда улыбающейся одной откровенной улыбкой...

Венеция, 1-го мая

РИМ

(Очерки, с. 117-119)

Salve, dea Roma! Склонившись над остатками
 Форума, я брожу среди твоих разбросанных
 одежд со слезами радости и обожанья, о
 отечество, о божественная, о святая роди-
 тельница!

Тобою я — гражданин Италии, тобой —
 поэт, о мать народов, давшая свой дух
 миру, запечатлевшая Италию своей славой!

Джозуэ Кардуччи

Когда вы встретите в России счастливец, недавно вернувшегося из заграничного путешествия, и поинтересуетесь его впечатлениями, он с разным чувством и нервным увлечением будет рассказывать вам о каждой стране, которую он посетил. Германия поразила его своей серьезностью и глубиной культуры, расчетливой холодностью своей жизни. Франции он не успел осмотреть, так как его отвлек Париж, этот единственный в своем роде город, этот пульс европейской жизни, этот неэкономный в трате энергии и расходе жизненных сил, прекрасный разорительный город. Лондон подавил его столько же своими туманами, сколько своей важностью; там слишком чувствуется то, к чему мы мало привыкли: что каждый человек, будь он в цилиндре или бекеше, имеет честь быть гражданином. Бельгия похожа на Францию, Швейцария красива и буржуазна от верхушки Монблана до дна Женевского озера. А вот Италия...

Об Италии говорят с улыбкой, междометиями, восклицательными знаками. В самом имени ее есть что-то очаровательное, как в именах ее городов: Венеция, Флоренция, Неаполь, Рим... Никто не объяснит вам, что собственно в ней прекрасно, что так притягивает к ней чужезстранца. Ее природные красоты, быть может слишком ласковы и причесаны и береговые скалы достаточно однообразны, ее курорты порою прямо противны; крайние неблагоустроены ее способы передвижения, что всегда так отражается на психике путешественника. И все-таки она была и остается прекрасной страной, над которой почил особая щедрость солнца и особая улыбка небрежного художника-природы. Она одарена свыше, и от избытка готова дарить всякому то, что он

ищет: художнику — новые тона и краски, писателю — чуткие настроения, историку — живые картины веков минувших, певцу — гамму звуков и тонкое кружево легких мелодий, наблюдателю современности — целый калейдоскоп экономических и политических наслоений, веселую выставку общественных начинаний и смелых, оригинальных инициатив, усталому путнику — отдых, приют, привет, гостеприимство, теплоту, ласковую сердечность, разлитую невидимо повсюду — в зелени деревьев, в лазури неба, в тайниках народного духа...

Почти все, отправляясь в Италию, являются сюда предубежденными в ее пользу и очень требовательными; и, несмотря на это, почти никто не покидает ее разочарованным. Пусть он встретит здесь не то, что ожидает, — но зато он встретит много другого, о чем не мечтал. И уже за одно неожиданное впечатление можно ручаться: Италия покажется ему почему-то и чем-то родной. Это так понятно! Ведь в ней почтили и отразились все культуры всех времен и народов, из нее разошлись по всему миру идеи, мысли, образчики искусства; возможно ли не встретить в ней частицы родного, знакомого с детства, как с детства знакомы нам имена ее героев, от легендарного Ромула до еще живого в нашей памяти Гарибальди? Разве Рим, вечный Рим, не родной нам город? Разве с его судьбой не связана частица нашей мысли и нашего сердца? Разве он не естественный центр мира, хоть и не велик размером, хоть и не богат и не значителен по населению?

Но, оставаясь “центром мира”, Рим, прежде всего, — центр Италии, как прошлой, так и современной. И не потому центр, что здесь высится Квиринал, с королевским дворцом и на площадь Монтечиторио падает тень от старого здания парламента; и не потому, что здесь находятся центральные отделения больших банков, железнодорожных обществ, что здесь Ватикан, приютивший “добровольного узника”, главу мирового католицизма, что здесь живут министры Италии и представители иностранных держав. Все это делает Рим официальным центром, но еще не делает сердцем Италии. Точно также не в Риме централизуется современная итальянская культура; культурным центром является Милан, город-модерн, где выходят лучшие периодические издания и книги, где общественная жизнь кипит ключом, давая редкие образчики кооперативной инициативы и просветительной деятельности, где низок процент безграмотности, где лучшая опера. Центром индустрии является Турин, столица севера, — в Риме же промышленности нет почти никакой. Но, средний по географическому положению, старейший по историческим преданиям, — Рим является

такую же душой Италии, как Москва для России. Вечный центр культуры, он на обломках старого построил современность. В противоречивом разнообразии его жизни можно найти все наслоения переживаний Италии, от античного монумента до дома-модерн, от “сельского поединка” до парламентской дуэли, от южной дикости до северной изощренности. У Рима, как и у остальных итальянских больших городов, есть свое, характерное и незабываемое. Но в то время, как Венеция напоминает нам веселый интернациональный клуб, Флоренция — благовоспитанный губернский город, погруженный в созерцание своих галерей, Неаполь — страну добродушного беспутства и пылкой красоты, — Рим включил в себя все, все претворил, все сгладил, все оттенил тенью своей вечности и своего природного, наследственного благородства. Несмотря на то, что и современному итальянцу все еще не чужд местный патриотизм, заставляющий туринца свысока смотреть на миланца и обратно, несмотря на то, что другие итальянские столицы во многих отношениях перегнали Рим, — перед авторитетом вечного города преклоняются все. Нужно вспомнить историю, вспомнить, как полвека тому назад, заседавший в Турине итальянский парламент имел смелость с прекрасным неблагоразумием провозгласить столицей Италии Рим, бывший тогда еще под властью папы и лишь спустя десять лет присоединенный к итальянскому королевству. Нужно вспомнить и то, как на это ответил Гарибальди, пошедший из Сицилии на Рим с бессмертной фразой: “Рим или смерть”. Нужно посмотреть, с какой радостью и торжеством справляется в Италии день “рождения Рима” в апреле и день взятия Рима в сентябре, с какой гордостью произносится имя вечного города, этой “прародительницы народов” и “матери Италии”. И тогда станет понятнее, почему Рим был, есть и останется духовным центром Италии, ее верным, ровно бьющимся, нестареющим сердцем.